

Литературоведение

УДК 82.0

Пограничные состояния в литературном нарративе

Валерий И. Тюпа

*Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Россия; v.tiupa@gmail.com*

Аннотация. В статье рассматриваются случаи нарративного использования так называемых пограничных состояний сознания, раздваивающегося между ориентацией на внешнюю и внутреннюю реальности, в русской классической литературе (Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов). Если в психиатрии такого рода раздвоение может рассматриваться как один из симптомов безумия, то в классическом литературном дискурсе оно применяется как одна из модификаций нарративности, исполняющая определенную художественную функцию. В рассмотренных примерах нарративность пограничных состояний репрезентирует сформированную романтизмом культуру «уединенного» Я-сознания в кризисных ее проявлениях. Выявляется зарождение в петербургских повестях Гоголя абсурдной нарративности, широко распространившейся в литературе XX в.

Ключевые слова: пограничное состояние, нарративность, безумие, абсурд.

Для цитирования: Тюпа В.И. Пограничные состояния в литературном нарративе // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2019. № 2. С. 10–18.

Borderline states in fictional narrative

Valerij I. Tiupa

*Russian State University for the Humanities,
Moscow, Russia; v.tiupa@gmail.com*

Abstract. The article considers cases of narrative using of the so-called borderline states of consciousness, bifurcated between the orientation toward the external and internal reality in Russian classics (Pushkin, Gogol, Dostoevsky, Tolstoy, Chekhov). If in psychiatry this type of splitting in

© Тюпа В.И., 2019

psychiatry can be considered as a symptom of insanity, then in classical literary discourse it is used as a narrative modification that performs a certain artistic function. In the examples considered, the borderline states narrative represents the culture of the “secluded” self-consciousness formed by romanticism in its crisis manifestations. The origin of the absurd narrative in Petersburg’s novels by Gogol that was widely spread in the literature of the twentieth century is revealed in the article.

Keywords: borderline state, narrative, insanity, absurd.

For citation: Тиupa VI. Borderline states in fictional narrative. *RSUH/RGGU Bulletin. “Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies” Series*, 2019; 2:10-8.

Введение

После философии экзистенциализма в гуманитарных науках широко распространилось понятие «пограничная ситуация». В такой ситуации некий выбор для оказавшегося в ней субъекта становится неизбежным: «или – или», как было сформулировано Сёренем Киркегором. Подобные ситуации нередко оказываются интригообразующими в нарративных высказываниях, особенно в литературных произведениях.

Понятие «пограничного состояния», к которому мы обращаемся ниже, пришедшее из психиатрии, из диагностики безумия, знаменует нечто иное. В психиатрическом контексте это измененное состояние сознания, балансирующее на грани между нормой и патологией. В нарратологическом аспекте состояния литературных персонажей, заслуживающие именоваться «пограничными», также весьма значимы, однако природа их здесь художественно функциональная и не обязательно патологическая.

Предметом специального нарратологического исследования данная проблематика в отечественном литературоведении практически еще не становилась. В качестве исключения можно указать на диссертацию белорусской исследовательницы О.А. Йоскевич [1], внимание которой было сосредоточено в основном на тематическом (патологическом) аспекте литературы о безумцах. В предлагаемой ниже статье акцент смещается с темы безумия на художественную функциональность нарративно репрезентируемых пограничных ситуаций.

Тема безумия у романтиков и Пушкина

Безумие становится объектом осмысления еще в мифологических глубинах культуры. Безумие Геракла или Нарцисса первоначально мыслится вполне однозначно – как катастрофическое отступление от норм человеческого поведения. Однако начиная с эпохи романтизма однозначность в осмыслении сумасшествия пропадает. Если ограничиться русской литературой, можно вспомнить «Блаженство безумия» Н.А. Полевого, где пограничное состояние оказывается условием человеческого существования. В немецкой литературе яркий пример переосмысления сюжета о безумце являет Фридрих Шлегель в «Люцинде», где состояние залюбовавшегося собою Нарцисса оценивается как божественное состояние «креативного гения, сконцентрированного на своей самости» [2].

Эгоцентрическая культура романтизма сформировала и сделала аксиоматичным представление о том, что каждая человеческая личность (в той мере, в какой она действительно является личностью) выступает центром собственного автономного мира. Если внешне человек принадлежит общему миру «других», то внутренне он способен уходить от него, замыкаться в субъективном мире представлений и ценностей своего «уединенного» (Вяч. Иванов) сознания. Безумие начинает мыслиться как игнорирование границы между этими мирами – как *пограничное* состояние сознания.

При этом в художественном творчестве такие состояния нередко трактовались отнюдь не в медицинских категориях. Напомню тютчевское:

О вещая душа моя,
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..
Так, ты — жилища двух миров.

Но мы обратимся не к лирическому, а к нарративным формам и возможностям освоения пограничных состояний человеческого сознания.

В неоконченном лермонтовском «Штоссе» ирреальная ситуация игры с inferнальным партнером ставит героя в пограничную ситуацию на меже двух миров: действительного и фантастического. Однако его сознание не представлено читателю как пребывающее в пограничном состоянии. Тема безумия здесь не актуализирована.

В классической русской литературе первыми нарративами о безумцах явились «Пиковая дама» и «Медный всадник». В обоих случаях мы имеем дело с пограничными состояниями персонажей на рубеже внешнего и внутреннего миров:

И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.

Обезумевший от горя Евгений бегаёт по затопленному Петербургу и тем самым принадлежит общему (внешнему) пространству. Погоня же Всадника совершается во внутреннем (субъективном) пространстве героя, который при этом принадлежит одновременно обоим этим мирам. Данный казус можно назвать классическим случаем «пограничного состояния».

Погоня выступает фактом *имплицитного автонарратива* Евгения. Так именуется не структурированный и не вербализованный событийный опыт личности, который она могла бы изложить в эксплицитном повествовании от первого лица (эгонарративе). Но процедура рассказывания существенно трансформирует наш личностный опыт, составляющий фундамент нашей самости. Последняя может быть определена как нарративная идентичность «для себя». В герое имплицитного автонарратива («правильного», на мой взгляд, рассказа обо мне) я вижу себя со стороны именно таким, каков я кажусь себе изнутри, чем и достигается виртуальная самоидентичность. Тогда как эгонарративное рассказывание о себе кому-то иному, а тем более рассказывание обо мне в третьем лице преломляют, искажают нашу самость, попадающую в кругозор «других»¹.

В пушкинском тексте нарратор незаметно переступает границу между гетеронарративным рассказыванием о герое как «другом» среди «других» (в собственном сознании Евгений отнюдь не является *безумцем бедным*) и автонарративным переживанием самого героя.

Аналогичным образом Пушкин поступает и в «Пиковой даме». Видение прихода к Германну умершей графини передается ровно в той же модальности, в какой перед этим было рассказано о его поведении на похоронах и в какой в конце повести сообщается о его сумасшествии. Аномальное сновидение снимает грань, разделяющую внутреннюю кажимость (о подмигиваниях мертвой старухи и карточной дамы говорится: «показалось») и внешнюю данность общего с остальными людьми мира.

¹ Подробнее см.: [3–5].

*Пограничные состояния сознания
в реалистических нарративах*

После Пушкина снятие границы между имплицитной автонаррацией и эксплицитной гетеронаррацией становится в русской литературе весьма распространенным способом репрезентации пограничных состояний. Но в произведениях классиков нарративность такого рода не выступает ни самоцельным литературным экспериментированием, ни психиатрическим исследованием.

«Двойник» Достоевского весь построен на эффекте пограничной неопределенности. За первой фразой о пробуждении Якова Петровича Голядкина следует вторая: «Минуты две, впрочем, лежал он неподвижно на своей постели, как человек, не вполне еще уверенный, проснулся ли он, или все еще спит, наяву ли и в действительности ли все, что около него теперь совершается, или – продолжение его беспорядочных сонных грез». Все дальнейшее изложение развивается в этом же ключе, не обозначая границ между гетеронарративным повествованием «от автора» и автонарративным «продолжением беспорядочных грез». Такая поэтика наррации позволяет глубже проникнуть «за кулисы» уединенного сознания, чем этого достигают как внешнее повествование от третьего лица, так и эгоцентрическое рассказывание о себе.

С нарратологической точки зрения, в подобных произведениях мы имеем дело не с феноменом «ненадежного нарратора» (термин Уэйна Бута), как в гоголевских «Записках сумасшедшего», а с феноменом *ненадежного фокализатора*, который в своей патологической обособленности видит то, чего никто из людей видеть не может. Таковы наши сновидения, которые мы рассказываем отстраненно, не отождествляя настоящее свое дневное «я» с тем его состоянием, которому открылось происходившее во сне (типичное рассогласование позиций нарратора и фокализатора, описанное Жераром Женеттом).

К пограничным состояниям сознания своих героев Достоевский неоднократно прибегал и позднее – в романских шедеврах. Классический случай – беседа Ивана Карамазова с чертом.

Предсмертные видения Свидригайлова, не обозначаемые нарратором переходы от бодрствования ко сну и обратно знаменуют пограничную патологичность предельно обособленного от мира других, поистине уединенного «я» героя. Экстравагантные сны Раскольников подаются иначе, хотя эти два героя внутренне аналогичны по своей уединенности (Свидригайлов это ясно понимает, хотя Раскольников не желает с ним соглашаться). Дело в том, что внутренняя уединенность Раскольника не абсолютна, створки его «я» не до конца еще замкнулись, для него все еще возможен выход

к «ты» (иному личностному «я»), а через него – к Богу и миру других людей. Тогда как безнадежный эгоцентризм Свидригайлова ценностно уподобляется безумию: поглощению ирреальным миром потусторонней «Америки».

В рассказе Л.Н. Толстого «Записки сумасшедшего» припадки ужаса грядущей смерти, протекавшие как пограничные состояния, когда «мучительно разрывалась душа с телом», приводят героя к моральному просветлению. Правда, именно просветления такого рода и воспринимаются окружающими как свидетельства его безумия.

В произведениях Чехова пограничные состояния сознания встречаются весьма широко и значимо, хотя к теме безумия он обращался нечасто. Мера личности чеховского человека есть мера напряжения между внешней и внутренней сторонами его бытия, между его социальным функционированием и «личной тайной». В жизни учителя словесности Никитина такое напряжение возникает и обостряется, в жизни Ионыча, напротив, ослабевает и исчезает. Только в «магнитном поле» этого напряжения герой чеховского рассказа действительно становится субъектом целостного духовного самоопределения – личностью.

Личностная самоактуализация в чеховском мире так или иначе связана с моментом выхода «я» из своих берегов, с моментом ухода из вязкой инертности жизненного уклада. Однако избыточное напряжение чеховского драматизма способно свергать сознание героя в патологически пограничное состояние. Среди наиболее ярких примеров – «Спать хочется», «Черный монах», «Архиерей». Однако ценностная значимость такого рода состояний у Чехова может быть различной.

В одном из героев «Черного монаха» (отце Тани, начинающем жить «в каком-то волшебном полусне») «сидело как будто бы два человека: один был настоящий Егор Семеныч <...> и другой, не настоящий, точно полупьяный». Однако Коврин идет гораздо дальше. Безумие Коврина состоит в том, что его уединенное сознание углубляется в свою «личную тайну» настолько, что порой вовсе порывает с действительной жизнью – жизнью среди других. В предсмертном пограничном состоянии Коврин «не мог уже от слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо <...> а черный монах шептал ему, что он гений».

Предсмертное пограничное состояние преосвященного Петра (бывшего мальчика Павлуши) раскрывается иначе: не как безумие, а как детское непонимание: «Катя, бледная, суровая, стояла возле и не понимала, что с дядей <...> А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой,

обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица <...>. Принципиальное отличие архиерея от Коврина в том, что он не обособляется от других, а напротив, страдает от своей невольной обособленности: «Хоть бы один человек, с которым можно было бы поговорить, отвести душу!»

Зарождение абсурдной нарративности в петербургских повестях Гоголя

Гоголевские петербургские повести – вопреки мнению О.А. Иоскевич – стоят в этом ряду особняком и открывают иную линию русской нарративной традиции.

«Записки сумасшедшего» при отсутствии внешнего нарратора вербализуют патологический автонарратив героя, вполне уже принадлежащего запредельному миру его уединенного сознания. Повесть же «Нос» разворачивает перед нами не эпизод (как у Пушкина), а целый сюжет пограничных состояний и не чьего-то единичного сознания, но самого повествуемого мира – мира петербургской жизни как жизни аномальной. Оба главных персонажа становятся героями невероятных историй, разыгрывающихся на грани яви и сна, якобы уже завершившегося, но, может быть, и нет (как в «Пиковой даме»).

Перед лицом петербургской жизни в неопределенности пограничного состояния оказывается сам нарратор, вынужденный дважды прерывать свое повествование («вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно») и, наконец, констатировать: «Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия». Пограничное состояние нарратора, аналогичное состояниям его персонажей, разрушает его основную нарративную функцию организатора истории и гаранта ее событийности: «Просто я не знаю, что это...»

Можно сказать, что Гоголь впервые в русской литературе обращается к *абсурдной нарративности* всеобъемлющего пограничного состояния. Абсурдность такого рода О.Д. Буренина удачно определяет как «экстремальный тип отношений между человеком и исчерпавшим динамику своих возможностей миром – миром в состоянии кризиса» [6]². В таком диететическом мире места для «нормы», составляющей фон патологических отклонений, уже не остается. Зародившееся в древнегреческой

² Буренина О.Д. Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины XX века. СПб., 2005. С. 51.

философии понятие абсурда было эквивалентно Хаосу в его антиномичности Космосу.

В символизме и ряде постсимволистских практик художественного письма абсурдистская наррация распространяется как едва ли не наиболее знаменательный симптом ментального кризиса зародившейся в эпоху предромантизма и романтизма культуры Я-сознания. Такова, например, природа нарративности у Хармса, Пелевина, Сорокина.

Заключение

Пограничные состояния героя в качестве субъекта существования были рассмотрены как порождение эгоцентрической культуры уединенного сознания. В литературе романтического и постромантического периодов обращение к такого рода состояниям сознания проявляется в особой нарративности «ненадежного фокализатора» и способно нести на себе различную смысловую нагрузку. Углубление нарративности такого рода в петербургских повестях Гоголя приводит к эффекту нарративного абсурда, широко распространенному в литературе XX века.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-24-49006.

The article was prepared in boundaries of scientific project No. 16-24-49006 supported by the RSSF

Литература

1. *Иоскевич О.А.* На пути к «безумному нарративу» (безумие в русской прозе первой половины XIX века). Гродно: ГрГУВ, 2009. 161 с.
2. *Лаврова Н.Л.* Историческая поэтика мотива: Смысловый потенциал мотивного комплекса Нарцисса: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М.: РГГУ, 2011. С. 21.
3. *Тюпа В.И.* Кризис идентичности как нарратологическая проблема [Электронный ресурс] // Narratorium. 2017. № 1(10). URL: <http://narratorium.rggu.ru/article.html?id=2637243> (дата обращения 23 дек. 2018).
4. *Тюпа В.И.* Нарративная идентичность: характер и самость // Белые чтения: к 85-летию Галины Андреевны Белой. М.: Эдитус, 2016. С. 285–296.
5. *Тюпа В.И.* Чеховский герой: между характером и самостью // Труды и дни: Памяти В.Е. Хализева. М.: МАКС Пресс, 2017. С. 387–394.
6. *Буренина О.Д.* Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины XX века. СПб.: Алетейя, 2005. 344 с.

References

1. Ioskevich OA. Na puti k "bezumnomu narrativu". On the way to the "crazy narrative" (madness in Russian prose of the first half of the 19th century). Grodno: Grodnenskii gosudarstvennyi universitet imeni Yanki Kupaly Publ.; 2009. 161 p. [In Russ.]
2. Lavrova NL. Istoricheskaja poetika motiva. Historical poetics of the motive. The semantic potential of the motive complex of Narcissus. [Avtoreferat dis. ... kand. filol. Nauk]. Moscow: RGGU Publ.; 2011. 21 p. [In Russ.]
3. Tiupa VI. Krizis identichnosti kak narratologicheskaja problema. [Internrt]. *Narratorium*. 2017;1. [data obrashcheniya 23 Dec. 2018]. URL: <http://narratorium.rggu.ru/article.html?id=2637243> [In Russ.]
4. Tiupa VI. Narrative identity. Character and selfness. V: Belaya Scientific Conference. Towards the 85th anniversary of Galina Andreevna Belaya. Moscow: Editus Publ.; 2016. p. 285-96. [In Russ.]
5. Tiupa VI. Chekhov's hero. Between character and selfness. V: Works and Days. In Memory of V.E. Khalizev. Moscow: MAKS Press Publ.; 2017. p. 387-94. [In Russ.]
6. Burenina OD. Symbolist absurdity and its traditions in Russian literature and culture of the first half of the 20th century. Sankt-Peterburg: Aleteiya Publ.; 2005. 344 p. [In Russ.]

Информация об авторе

Валерий И. Тюпа, доктор филологических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия; ГСП-3, 125993, Россия, г. Москва, Миусская пл., д. 6; v.tiupa@gmail.com

Information about the author

Valerij I. Tiupa, Dr of Sci. (Philology), professor, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; bld. 6, Miusskaya sq., Moscow, GSP-3, Russia, 125993; v.tiupa@gmail.com